Зима, когда я вырос

Автор:
Петер Гестел

Зима, когда я вырос

Петер ван Гестел

Лучшая новая книжка

1947 год. Послевоенный Амстердам. Зимний лед не только на улицах города, но и в жизни людей, стремящихся обрести хоть какое-то равновесие. Десятилетний Томас живет вдвоем с отцом-мечтателем, который переходит с одной работы на другую и никак не может смириться со смертью матери мальчика. И сын остается практически без его внимания. У каждого в этом городе в это время – по такой истории. Что их отогревает – это друзья и разговоры. Друзья Томаса – его ровесник, тихий мальчик Пит Зван, чьи родители стали жертвами Холокоста, и строгая тринадцатилетняя Бет Зван, в которую Томас влюблен.

Вместе с Томасом и его друзьями мы познаем внутренний мир людей, пострадавших от войны, и радуемся каждому лучу солнца в их жизни.

Петер ван Гестел.

ЗИМА, КОГДА Я ВЫРОС

Даниэлу К.

Снег прошлого не хочет таять.

Из «Амстердамских дней»

Ремко Камперта

Перевод с нидерландского Ирины Михайловой

Иллюстрации Юлии Блюхер

Москва • Самокат

Лето без туч и дождя

Середина лета. Сегодня мы с папой вернулись в Амстердам. На кухне – муравьи, в кроватях – блохи и у нашего единственного цветка на окне – пожелтевшие листья.

На календаре – картинка с тремя воробьями у цветочного горшка. Над картинкой написано: «Март 1947».

Март уже давно кончился.

Скажу тете Фи, чтобы она не отрывала страничку с воробьями. Папы можно не бояться, до календарей ему нет дела. А мне календарь не нужен – я все помню наизусть. Сегодня третье августа, воскресенье. На деревьях щебечут птицы.

Мы с папой четыре месяца прожили в Апелдорне.

В доме старого-престарого вдовца.

В доме, где течет крыша, даже когда нет дождя.

Вдовец показывался на глаза нечасто. Он пугался до ужаса, когда встречал меня в коридоре. Иногда он бесконечно долго сидел в туалете. Мне даже из сада были слышны издаваемые им звуки. Когда туалет занят, мне всегда особенно хочется писать. В этом проклятом доме в Апелдорне я несколько раз чуть было не обмочил штаны.

В кухне пахло кислым молоком, и я обходил ее за километр. Папе разрешалось готовить там для нас еду только после шести. Вдовец обедал в кухне в двенадцать часов дня. В полном одиночестве. Однажды я подглядел через окно из сада, как он облизывает тарелку. Заметив меня, он спрятал лицо за тарелкой. Наверняка думал: если я не вижу этого парнишку, то и он меня не видит.

Мы с папой спали вместе в двуспальной кровати, довольно-таки скрипучей. Мы прямо утопали в мягком матрасе. Если мне не спалось, я переворачивался с одного бока на другой. От этого папа обычно просыпался. Слушая его ворчанье, я постепенно задремывал.

В Апелдорне есть и школы. В этом смысле мне не повезло. Меня определили в класс, где я чувствовал себя полным чужаком. Эти местные чуваки, окружавшие меня весь нескончаемо долгий учебный день в коридорах и в классе, не приставали ко мне. Не дергали за волосы, не плевали в лицо и не ставили подножку, чтобы я грохнулся. Им просто не приходило это в голову.

От их примерного поведения мне делалось совсем тоскливо.

Учительница тоже никогда не обращала на меня внимания. В первый день мне показалось, что она состроила мне рожу, но через полминуты она состроила ту же рожу – у нее просто был тик, так что я здесь был ни при чем. Когда она вызвала меня читать текст по хрестоматии и я прочитал его громко и с выражением, она сказала: «Зря стараешься, тут не театр, у нас так не принято».

Погода становилась все теплее и теплее.

Казалось, холодная зима ушла далеко-далеко в прошлое. Да и была ли она когда-нибудь? – думал я.

В Апелдорне папа четыре месяца числился социальным работником при картонажной фабрике. Там делают большие и маленькие картонные коробки. Его работа состояла в том, чтобы утешать девушек, которых до этого дергали за волосы, щипали за ягодицы или которые ни с того ни с сего начинали плакать. Вообще-то мой папа и сам нуждается в утешении, но я не знаю, как это сделать. Он скучал по Амстердаму, и я тоже. В один прекрасный день папу уволили с работы. Потому что он каждый день приходил на фабрику слишком поздно и уходил слишком рано. И это, как он сказал, пришлось начальству не по вкусу.

И вот мы вернулись в Амстердам и теперь пытаемся прибраться в нашем собственном доме.

У меня каникулы.

Через несколько недель я снова пойду в свою старую школу. В классе меня, как и раньше, будут дергать за волосы, а учитель не будет смеяться над тем, как я читаю вслух.

В доме пока еще неуютно. Где ни дунешь, везде поднимается пыль. Пепельницы устрашающе пустые. Только в кухне на кухонном столе лежат несколько малюсеньких окурочков.

Ну и неряха же мой папа! Неисправимый.

Я не хочу, чтобы он нашел себе работу опять далеко от дома. Хочу остаться в Амстердаме. Не хочу переезжать к тете Фи. У тети Фи приходится есть только капусту, брюссельскую или цветную, и каждое утро без конца искать рукавичку для душа и зубную щетку, а по вечерам нельзя включать радио, потому что у тети Фи по вечерам всегда болит голова. Папа тоже не разрешает вечером слушать радио, но я на это плюю.

Лето в этом году – самое жаркое в моей жизни.

Да это и не удивительно: ведь мне всего десять лет.

Я стою у окна и смотрю на тыльную сторону домов, стоящих вдоль Ветерингсханс, – садики вдоль канала выглядят грязными и неаккуратными.

Папа спит после обеда, как обычно.

По палубе угольной баржи на канале прыгает мальчишка лет шести, на нем соломенная шляпа с двумя красными цветками; его мама вот-вот заметит пропажу своей соломенной шляпы и крикнет ему в окно, чтобы он немедленно шел домой.

Интересно, а тетя Йос и Бет тоже смотрят на этого мальчишку из окна своей гостиной, которая выходит на эту сторону? Из-за того что сад в тени и деревце с листьями загораживает вид, я не могу разглядеть их окно.

Я думаю о долгой холодной зиме.

На коврике в прихожей я среди прочей почты нашел письмо от Звана. На конверте написано: «Г-ну Томасу Врею». Письмо начинается со слов «Дорогой Томас». Я перечитал его уже раз двадцать. Зван уплыл на корабле в Америку – теперь он живет в Бруклине, самом большом районе Нью-Йорка.

Моя история

Хочу рассказать мою историю – историю о нас со Званом, а также о нас с Бет, и еще о холоде и зимнем льде в Амстердаме, и об оттепели, положившей всему конец. С чего начать? И кому все это можно рассказать?

Новичок в классе

Начну издалека. Полтора с лишним года назад у меня умерла мама. Скажу точно: на второй день Рождества 1945 года, вскоре после войны. Через год, на следующее Рождество, мы его никак не праздновали, елки у нас не было, и когда в классе все пели, я молчал – но никто ничего не заметил.

Первые недели после похорон папа каждую ночь бродил по городу. Он был уверен, что я спокойно сплю. Ничего подобного! Я не спал, хотя глаза у меня были закрыты. Он делал еще много других идиотских вещей – например, ставил на огонь чайник без воды или разговаривал с заледеневшим водопроводным краном, что не помогало, а когда я пнул этот чертов кран ногой, это тоже не помогло. У папы все пригорало, когда он готовил, и время от времени он подолгу смотрел куда-то в пол.

Однажды за мной пришла тетя Фи.

– Пора тебе, голубчик, помыть ноги, – сказала она. – Переезжай-ка ты на недельку-другую к нам.

– А как же папа? – спросил я.

– За ним мы тоже присмотрим, – сказала тетя Фи, – не сомневайся.

Тетя Фи не имеет ни малейшего представления о мальчишках моего возраста. На улице она держала меня за руку, представьте себе! Я шел с ней рядом, как дурак.

В доме у тети Фи я прожил две недели. А потом она отвела меня обратно домой на канал Лейнбан. Папа к моему возвращению побрился, и я обрадовался, что он меня не забыл.

Когда хоронили маму, были еще рождественские каникулы. Папа не дал объявления в газету. Поэтому у меня в школе ни о чем не знали. И я тоже не стал рассказывать. Когда мне давали тумака в коридоре или приклеивали бумажку от ириски на спину пальто, я кричал: «Я маме расскажу!»

Начальная школа, в которой я учусь, находится на Старой Верфи. Это недалеко от реки Амстел, но когда смотришь в окно, то воды в реке все равно не видно. Чтобы подойти к школе, надо пройти через подворотню.

Это отвратительное здание.

Я всякий раз забываю, где повесил свое пальто. Около трех я всегда думаю: наверное, уже четыре!

Через полгода после маминой смерти я перешел из третьего класса в четвертый. В первый день учебного года нас отвели в новый кабинет. Он оказался чуть просторней прежнего, но парты были такие же тесные. Дан Вролик сел, как всегда, слишком близко ко мне. От него, как всегда, пахло дегтем, а когда он рыгал, я чувствовал запах овсяной каши.

Перед нами стоял высокий мужчина.

Наконец-то у нас настоящий учитель-мужчина! Мы смотрели на него с надеждой. От нашей учительницы в начальных классах мы уже чуть не чокнулись. Она была слишком старая. Если ты, по ее мнению, раньше времени перелистывал страницу учебника, она вызывала тебя к своему столу и десять раз ударяла линейкой по правой ладони, а класс считал удары вместе с ней. И еще она весь день покрикивала: «Выпрямить спину!», «Руки на парту и не ерзать!»

– Я учитель Коллевейн, – сказал мужчина. – А теперь вы скажите по очереди, кого как зовут. Начнем с левой передней парты и закончим справа сзади.

Только Дан Вролик назвал свое имя раньше, чем пришла его очередь. Учитель на это не рассердился. Когда мы кончили называть свои имена и фамилии, дверь открылась.

В класс вошел совершенно незнакомый мальчишка.

Мы все уставились на него. Стало тихо-тихо.

Что ему здесь надо?

– Ты кто такой? – спросил учитель.

Мальчик стоял, прижав к себе портфель. На нем был черный пиджак, какие носят только старики. Темные волосы вились, он был невысокого роста – наверное, ему надо было в один из третьих классов.

– Меня зовут Пит Зван, – сказал мальчик. – Я сегодня первый раз пришел в эту школу.

– Да-да, – сказал учитель, – я слышал о тебе от завуча. Садись на последнюю парту в левом ряду. И запомни: ты опоздал в первый и в последний раз.

Пока Пит Зван садился за пустую парту и как пай-мальчик доставал из портфеля тетрадь, он не обращал на нас внимания, зато мы во все глаза разглядывали его.

– Чижик, – сказал Олли Вилдеман у меня за спиной.

Я радостно закивал: точно-точно.

Олли Вилдеман уже два раза оставался на второй год, его все страшно боятся, потому что он большой и чуть что – дерется.

Однажды в дождливый день в октябре я впервые заговорил с Питом Званом. После уроков он молча стоял между пустых парт в другом классе. Поскольку дверь была открыта, мне его было видно. Заметив меня, он смущенно почесал

затылок и усмехнулся. Я понял, что застал его врасплох, и не мог это так оставить. Я подошел к нему суровой походкой.

– Что ты здесь делаешь? – спросил я его. – Это же не твой класс!

– А ты знаешь, – сказал он, – что раньше это был еврейский лицей?

– Нет, – ответил я.

– После войны здание забрали.

– Почему? – спросил я.

– Оно все равно пустовало. А ты ни о чем не знаешь, Томми?

– Папа зовет меня Томас, – сказал я.

Зима, затвердевший снег

Середина февраля. Война закончилась почти два года назад. У папы не было работы, зима выдалась страшно холодная, и все каналы замерзли. Толстый слой снега на льду затвердел и посерел. Я часто падал, и колени у меня покрылись ссадинами с корками.

Вторник. Большая печка в классе раскалилась докрасна, учитель снял пиджак. Он сунул руки в карманы и прислонился к доске, в углу рта торчала сигарета. По мне прямо дрожь пробежала от предчувствия радости – ведь сейчас он будет рассказывать что-нибудь интересное.

Для своего возраста учитель еще сильный и крепкий человек.

Он то и дело проводит по своим седым волосам гребешком, который всегда торчит у него из нагрудного кармашка. Иногда он здорово злится на нас и

раздает тогда оплеухи направо и налево. После уроков он висит в спортзале на кольцах или выполняет упражнения на козле – с прямыми, как палки, ногами.

Учитель спросил:

– Кто из вас может рассказать мне что-нибудь о Первой мировой войне?

Пит Зван поднял руку. Он знал все на свете, просто обалдеть!

– Мы тогда сохраняли нейтралитет, – сказал Пит Зван. – Мы не воевали, а немцы тогда тоже потерпели поражение.

– Отвечать можно только после того, как тебя вызовут, – сказал учитель. – Больно ты много знаешь! Смотри, не успеешь оглянуться – и к пятнадцати годам у тебя уже будут усы и вздувшиеся вены.

– Хорошо, я учту ваши слова, учитель, – сказал Пит Зван.

Учитель закрыл глаза.

– Не по душе мне твоя заносчивость, – сказал он.

Мы все посмотрели на Пита Звана. Если учитель сейчас передумает рассказывать нам интересную историю и велит решать задачки, то виноват в этом будет Пит Зван.

– М-да, – сказал учитель, – я тогда служил в армии, был солдатом, лучшее время моей жизни! Все дни в радость, даже если приходилось ползти по грязи.

Лишье Оверватер подняла руку.

– Вы стреляли в немцев, да, учитель? – спросила она.

– Мы сохраняли нейтралитет, – спокойно ответил учитель. – Ведь господин Зван только что нам это изложил. Мы ежедневно находились в состоянии боевой готовности, каждое утро чистили пуговицы и ствол винтовки, но фрицы так и не

сунулись в нашу страну, а то я бы их сразу пристрелил.

Учитель взял указку, шагнул вперед и сделал вид, будто целится в нас.

– Бах-бах-бах, – произнес он несколько раз подряд.

Мы расхохотались.

– Ребята, – сказал учитель, когда мы успокоились, – когда я служил в армии, я исколесил нашу страну вдоль и поперек. Мы ездили на велосипедах, среди полей и дюн, с винтовкой и ранцем за спиной. Солнышко светит, деревенские девчонки машут нам рукой. Мы слезали с велосипедов и угощали их шоколадом «Кватта», и светловолосые красавицы целовали нас в щеку. От них пахло парным молоком и только что сбитым маслом. На самой симпатичной из них я женился, сейчас она сидит дома и штопает мне носки.

Мы все вздохнули.

– Я набрал для нее ежевики; я даже не знал, как ее зовут. Я осторожно положил ягоду ей в рот, она закрыла глаза и покраснела.

Он смолк, в классе было тихо-тихо.

Я закрыл глаза и подумал о Лишье Оверватер. Может быть, я тоже когда-нибудь положу ей в рот ягоду ежевики?

– Надо было следить, чтобы на гимнастерке не было пятен, – продолжал учитель. – За красное пятно на гимнастерке полагалось наказание: почистить десять мешков картошки.

Тут в класс вошел завуч. Он посмотрел на нашего учителя и кашлянул в кулак. Учитель тотчас надел пиджак.

– Дети, я должен вам кое-что сказать, – произнес завуч. – Вы ведь еще не знаете, что у Томаса Врея год назад умерла мама. Это очень грустно. Так вот, ваша прежняя учительница юфрау Виллемсе рассказала мне, что вы дразните Томаса. Больше не делайте этого. Быть приветливым с товарищем совсем нетрудно.

Сказал – и ушел.

Ну и тупица этот завуч! А мой папа ему зачем-то взял и рассказал про маму – папа тоже тупица! Но тупее всех юфрау Виллемсе. Она-то зачем суется не в свое дело! Теперь они все вместе надоумили моих одноклассничков.

Когда учитель повернулся к нам спиной, Олли Вилдеман погладил меня своей лапищей по голове. Мне от этого легче не стало.

После тупого выступления завуча я украдкой огляделся. Пит Зван смотрел в мою сторону. А он никогда ни на кого не смотрел. Но мне на него наплевать.

Мне было жаль, что Лишье Оверватер не обернулась.

Она сидит передо мной справа. Из-под ее длинных волос немного виднеются уши.

В классе я мог смотреть на нее сколько угодно, причем совершенно незаметно. Когда она стояла у доски и не могла ответить про батавов[1 - Батавы – германское племя, жившее некогда на территории нынешней Голландии.] и тому подобное, она терла ладошкой нос, а глаза у нее были такие голубые, что от счастья у меня кружилась голова.

Я был без ума от Лишье Оверватер. Она об этом не знала. Если я просил у нее карандаш или резинку, она делала вид, будто ничего не слышит. От этого я очень расстраивался.

Лишье Оверватер разговаривает только с другими девчонками. Почему – одному богу известно. В нашей школе у всех девчонок такая манера, и я в одиночку не могу этого изменить.

После уроков я увидел у своего дома Пита Звана. Он стоял прямо на льду канала Лейнбан. Смотрел на затвердевший снег, потом на меня. Я спрыгнул на лед и подошел к нему.

Он улыбнулся и топнул ногой.

– Настоящий зимний лед, – сказал он. – Может быть, он вообще никогда не растает. Будет вечная зима. Хотя в любой день может начаться оттепель. Я люблю холод; по мне, пусть всегда будет зима.

– Ну-ну, – сказал я.

– Тебя дразнят, да? – спросил он. – А я и не знал.

– Это только со стороны так кажется, – сказал я. – У Олли Вилдемана отец истопник. Он иногда привозит нам бесплатно мешок угля. А на прошлой неделе они накормили меня гороховым супом.

Пит Зван хмыкнул.

– А я так не люблю гороховый суп, – сказал он.

– Олли часто делает вид, будто дразнит меня, – сказал я, – но я-то понимаю. Он бьет совсем не больно. Я кричу только для того, чтобы его порадовать.

Пит Зван прищурился.

– А я не знал.

– Чего ты не знал?

– Про твою маму.

– Тебе-то какое дело. Она умерла. Уже давно.

Пит Зван молча смотрел на меня.

– От тифа.

Я развернулся и пошел прочь.

Среда, после школы. Я неспешно шел к кинотеатру «Синеак» по Утрехтской улице. В кулаке сжимал последние папины десятицентовые монетки.

Увидев Лишье Оверватер, я вздрогнул. Она шла впереди меня. Я узнал ее по волосам и по видневшимся из-под волос ушам. Я впервые заметил, какие у нее тонкие ноги, и тихонько пропел:

Сапоги куплю повыше – эти маловаты.

Ноги у меня как спички, дразнятся ребята.

Лишье несла сумку, из которой торчал батон. Она шла так медленно, что мне пришлось затормозить, иначе я бы наткнулся на нее. Я не мог оторвать глаз от батона. Может быть, он прямо из печи и до сих пор теплый.

Я подумал: вот подбегу и откушу!

Но оказалось, что мне слабо. М-да.

Я перешел улицу, пробежал неуклюже по тротуару, чуть не растянулся, поскользнувшись, перешел улицу обратно и как ни в чем не бывало зашагал Лишье навстречу. Надо было видеть ее лицо. Как будто я – это воздух. Проходя мимо нее, я заметил, что от батона откушен кусочек, точно мышка поработала.

– Ну и как, вкусно? – спросил я ее со спины.

Она невозмутимо шествовала дальше – девочка, которая слышит только то, что хочет слышать, – вне школы я для нее просто не существовал, что бы я ни кричал, что бы ни делал.

Дойдя до магазина «Вана», я со спины увидел папу. Он нес два мешка с углем, в каждой руке по мешку. Этот уголь ему дала тетя Фи. Затвердевший снег на тротуаре был очень скользким, и папа смотрел себе под ноги, из-за чего выглядел еще более сутулым, чем всегда.

Я остановился.

В последнее время папа постоянно ворчал насчет угля, маргарина и сыра, которые нам не по карману. Мне это даже нравилось: благодаря папиному ворчанью казалось, что после войны времени прошло меньше, чем после маминой смерти.

Но сейчас, когда папа тащил этот уголь, он показался мне ужасно милым. Сегодня вечером у нас дома будет тепло, это же здорово. Я развернулся и пошел в другую сторону. Вечером я еще успею пообщаться с папой. А тащить тяжелый уголь мне было неохота, к тому же я хотел в кино.

Вечером наша затопленная печка потрескивала. А рядом с потрескивающей печкой стояла угольница, полная угля.

Мы с папой были совершенно счастливы. Мы подложили подушки себе под спины, поставили ноги на перевернутый ящик и раскраснелись от тепла.

Уже минуту спустя папа начал отключаться, хотя глаза у него оставались открытыми. Я корчил ему рожи, а он не замечал. Время от времени он усмехался, отвечая своим мыслям, а не миру вокруг. Когда я сделал губами «п-п-п-п», он вздрогнул и посмотрел на меня удивленно. Я прямо увидел, как он думает: «Ах да, я же тут не один, со мной рядом этот шкет, как славно!»

– Поставлю-ка я вариться картошку, – сказал он. – А ты пока накрой стол, Томас.

За мной дело не стало.

Папа чистил картошку всегда уже в вареном виде. Своими жаропрочными пальцами он торжественно клал картофелины на мою тарелку. У печки грелся чайник от тети Фи с отбитым носиком. В нем еще было немного подливки: тетя

Фи умеет сделать подливку из косточки от мяса и половинки луковицы. И еще у нас было яблочное пюре. Я размял картошку, перемешал с яблочным пюре и подливкой и в полминуты проглотил эту сладковатую кашицу.

– Ты чавкаешь, когда ешь, Томас, – сказал папа.

– Я мог бы съесть еще десять таких порций, – сказал я и тут же разыкался.

Всякий раз, когда я икал, мы с папой вздрагивали вместе. Это было весело.

– Голод можно заглушить, – сказал он неожиданно, – а горе – нет.

Ну вот опять – слезы у него в глазах. Чушь какая-то. Я не раз видел у него такие же слезы в самый неподходящий момент, когда мама еще была жива.

– Знаешь, чем можно заглушить горе? – спросил он.

Я не знал, да и не слишком хотел знать.

– Еще более сильным горем.

Я засмеялся.

– Почему ты смеешься, Томас? – спросил он.

– Это от нервов, – сказал я.

– Ты смеешься надо мной?

– Почему ты не ешь? – спросил я.

– Я уже ел вчера.

– Это старая шутка, я ее знаю.

– Этого-то я и боялся. У меня нет для тебя новых шуток, ты слышал уже все мои шутки.

Потом папа сидел за столом один. Перед ним лежала раскрытая толстая тетрадь в обложке из цветного картона. Он выглядел так, словно его где-то колет иголка.

– У тебя болит зуб?

– Нет, – сказал он, – я работаю.

– И от этого тебе больно?

– Вообще-то да, – ответил он. – Тебе этого пока не понять.

– А что же ты пишешь?

– Да все на свете.

– Про войну?

– Нет. После войны прошло слишком мало времени, чтобы о ней писать. А тебе пора спать.

– Почему мы едим всегда черствый хлеб?

– Иногда, бывает, и свежий!

– Я сегодня ел свежий хлеб, мне дали большой кусок.

– Боже мой, какое унижение… Зачем же ты взял?

– Я сначала отказался. Потом еще раз отказался, а потом все-таки съел – хлеб был такой теплый.

– Будь осторожен с незнакомыми людьми – у меня и так хватает забот.

– С незнакомыми людьми… Какие же это незнакомые люди, это была девочка, такая, каких ты называешь сиротками из приюта.

– Когда это я говорил о сиротках из приюта?

– Во время войны. Мы тогда увидели девочку, которая везла детскую коляску, а в коляске – всякое старое барахло, помнишь? И ты сказал: вот ведь, сиротка из приюта. А я спросил: откуда ты знаешь, что она из приюта? И ты ответил: если девочка одиночная, то, значит, это девочка из приюта.

– Я так и сказал – «одиночная»?

– Да, так сказал. Тетя Фи говорит, что я полусирота.

Папа рассмеялся.

– Полусирот не бывает. А сейчас давай-ка в кровать, не то скажу тете Фи, что тебе не понравилась ее подливка.

Лампа над столом осталась гореть, иначе папа не смог бы работать. Так что в соседней комнате, где стоят наши кровати, было не совсем темно. Я это очень люблю. Когда спишь, то такой свет не мешает, а когда не спишь, то совсем темно – это уж очень темно.

Я лежал в кровати, слишком усталый, чтобы читать, и слишком усталый, чтобы заснуть. Я смотрел в потолок и ни о чем не думал. Папа говорит: «Когда не можешь заснуть, перебирай в голове, что ты сделал за день, – в кровати мысли сами собой превращаются в сны».

Он сидел ко мне спиной, но мне все равно было видно, когда он пишет, а когда откладывает перо. Он курил самокрутку за самокруткой – казалось, будто облачка дыма поднимаются от затылка. Тетя Фи часто восклицает: «Твой отец выкуривает за неделю по целому ведру угля!»

Папа называет себя щелкопером, а другие говорят, что он писатель. В любом случае у него не все в порядке с головой. Например, он иногда говорит: «Я могу думать, только когда пишу». И другую чушь в этом роде.

Когда я вырасту, я не хочу быть писателем, это не для меня. Сочинить целую книгу – ужас, от этого становишься сутулым и не остается времени, чтобы поиграть в домино с сыном.

Два мальчика поодиночке

В воскресенье утром я пошел к тете Фи за своей еженедельной порцией «Наполеона». Иногда я думаю о тете Фи, сам того не желая. Это сестра моей мамы, на два года старше нее. «Мне шесть лет, – сказала мне когда-то, давным-давно, одна девочка, – а тебе восемь, так что ты умрешь раньше меня». Я с ней полностью согласился. Но она ошиблась. Мама умерла, а тетя Фи жива-живехонька.

На Ван Ваустрат не было ни души. Собака с длинной шерстью обнюхивала помойные бачки. Такая же голодная, как я. Но у нее была теплая шуба, а у меня – нет.

Из печных труб на больших домах поднимался дым. Когда я на него смотрел, у меня затекала шея.

Мои руки превратились в ледышки.

Я опять потерял варежки. Если тетя Фи заметит, то свяжет мне новые из кусачей шерсти. Не так давно она связала для меня рейтузы – за один день в школе они меня так искусали, что я даже заболел.

До Теллегенстрат, где живет тетя Фи, совсем недалеко. Там стоят дома из аккуратных кирпичиков и с квадратными окнами. Воскресенье на Теллегенстрат – это воскресенье втройне.

Я увидел тетю Фи в среднем окне ее квартиры на втором этаже – она поливала герань. Заметила меня и стала мне изо всех сил махать. Я взбежал по лестнице бегом. Да, получается, я люблю ходить в гости к тете Фи.

Таз уже стоял посреди комнаты. Тетя Фи взяла ведро с горячей водой и наполнила таз, не пролив на пол ни капли.

Хорошо, что сегодня воскресенье.

Этих веселых девушек, которым тетя Фи по будням дает уроки кройки и шитья, сегодня не было. Я не люблю, словно старикан, сидеть с ногами в тазу, когда вокруг меня порхают девушки лет восемнадцати. Они тогда смеются надо мной. Это, впрочем, ничего не значит: они смеются от всего, что видят и слышат.

Я восседал на кресле с твердыми пружинами. Тетя Фи присела передо мной на корточки и сняла с меня сапоги. Я видел ее макушку и вдыхал запах маминого горьковатого шампуня.

Тетя Фи вытащила из сапог мои носки.

– Постираю, – сказала она, – и заштопаю, на печке мигом высохнут.

Я сунул ноги в воду.

По привычке сказал:

– Ой, как горячо.

Я наклонил голову как можно ниже, чтобы она не видела, как я сияю от счастья.

– А где дядя Фред? – спросил я, после того как тетя Фи повесила выстиранные носки на сушилку у печки.

– Он в кино, – сказала тетя Фи, – в зальчике, где по утрам в воскресенье показывают документальные фильмы об Африке. Твой дядя обожает их – знаешь почему?

Я помотал головой, потому что не имел об этом ни малейшего представления.

Тетя Фи неожиданно качнула бедрами и сделала волнообразные движения руками. Я испугался, когда она протанцевала по комнате.

– Зулусские девушки, понимаешь ли, – сказала тетя Фи грустно. – Они танцуют и поют нагишом, и за пятьдесят центов можно на них смотреть.

Я смущенно глядел на пальцы своих ног. В горячей воде они казались совсем белыми.

– Африканская природа твоего дядю ни капли не волнует, – сказала тетя Фи. – Он наслаждается этими черными попками.

Я ничего не говорил. Я когда-то раньше уже слышал разговоры о том, что дядя Фред хотел фотографировать учениц тети Фи голышом. Тетя Фи ему не разрешила. На самом деле дядя Фред мечтает быть настоящим фотографом, но пока не получается, он работает на душной работе в большой конторе, где ему не разрешают дни напролет толковать о фотографиях. Тетя Фи говорит ему, чтобы он фотографировал натюрморты, потому что ей это очень нравится. Вот Фред и занимается натюрмортами. Эти фотографии развешаны по всем комнатам – гигантское голое яйцо, рядом с ним ложечка, кувшинчик и груша, отбрасывающие длинные тени, или два лимона, таких большущих, что они не похожи на лимоны, – все жутко скучно.

Тетя Фи перестала танцевать.

– Хочешь уже сейчас свой кусок «Наполеона»? – спросила она.

– А носки высохли?

– Нет. И заштопать я их смогу, только когда они высохнут. Мой чайник ты принес?

– Забыл.

Тетя Фи вздохнула.

– Знаешь, малыш, как я за тебя переживаю, – сказала она. – Я иногда просыпаюсь среди ночи и думаю о тебе. Мальчугану тяжело, думаю я. Он живет под одной крышей с этим чудаком. Да, твой отец не виноват, ведь он артист. Я всегда говорила твоей маме: не выходи за артиста, детка, погуляй с ним вдоволь, но в дом этого мечтателя не пускай. Но она вышла за него, упрямица. На свадьбу твоя мать надела мою шляпку, а отец был, как полагается, в галстуке, но с пятнами. Через год родился ты. Мама души в тебе не чаяла, но ей хотелось ходить на танцы и развлекаться. Тогда тебя приводили ко мне. Я тебя купала в ванночке. Ты так любил купаться, ты гулил, когда я тебя вынимала из ванночки и вытирала… А теперь у тебя остался только твой чудак-отец. Чудесный человек, но он воспитывает тебя ужасно, эти его заборные слова, очень жалко… Покажи-ка мне ноги.

– Не покажу.

– Почему?

– Это две ноги, на каждой пять пальцев, смотреть не на что.

– Тогда я отолью тебе подливки в миску. Хочешь холодной картошки?

– Нет.

– Ты разучился говорить «да»?

– Давай сейчас.

– Что значит «давай сейчас»! Будь любезен, скажи вежливо.

– Дай, пожалуйста, мне сейчас мой «Наполеон», дорогая тетя Фи.

Она засеменила прочь. В кухне она продолжала со мной разговаривать. Я не мог разобрать ни слова. Мама раньше тоже всегда разговаривала со мной из

дальней комнаты, когда я сидел в гостиной. «Я тебя не слышу!» – кричал я ей. «Прекрасно слышишь, – кричала она в ответ, – ты просто не хочешь слушать».

Вода в тазу подостыла. Но я все равно погрузился в дрему. Тетино бормотанье превратилось в мамино бормотанье.

Я опомнился, когда тетя Фи сказала мне прямо в ухо: «Не спать, чудик!»

Она стояла так близко от меня, что могла бы легко снять «сон» из уголков моих глаз. Я часто дергаюсь оттого, что она так похожа на маму.

– Не смотри так кисло, медвежонок ты мой! – сказала она.

Я балдел от тети Фи, ведь мама тоже часто звала меня медвежонком.

– Медвежата живут в зоопарке, – сказал я.

Я протянул руку и взял кусок «Наполеона». Он лежал на блюдечке с трещиной, похожей на вопросительный знак. Я мог выбирать: откусить прямо от всего куска или приподнять верхний слой теста, слизать толстый слой желтого крема, а потом съесть верх и низ по отдельности. Последнее было более правильным, но если смело кусать все сразу, то лучше чувствуешь вкус. Так я и поступил. Крем размазался по носу и верхней губе, жирные комочки плавали даже в тазу.

– Твоя мама всегда была такой хорошей девочкой, – рассказывала тетя Фи. – Я до сих пор многого не понимаю. Если хочешь о чем-нибудь расспросить меня, то давай.

– Если ты ничего не понимаешь, – сказал я с полным ртом, – то зачем мне спрашивать?

– Сначала проглоти, а потом рассуждай, дружок!

Я проглотил все, что было во рту, и громко икнул.

– Ты что, совсем дикарь, Томми? – спросила она.

– Нет. А зовут меня Томас.

– Мне все время кажется, что ты диковатый.

Я так резко вынул ноги из таза, что забрызгал тетю Фи. Она весело рассмеялась. Удивительный человек – веселится в самые неожиданные моменты, именно тогда, когда думаешь: вот теперь она рассердится уже всерьез.

По дороге домой я встретил Пита Звана. Нельзя сказать, чтобы он выглядел по-воскресному, хотя одет был очень аккуратно. Впрочем, в школу он одевался тоже аккуратно.

– Да это же Пит Зван! – сказал я.

В его глазах не было ни радости от встречи, ни удивления.

– Здравствуй, Томас, – сказал он.

Томасом меня называет только папа. Теперь, когда Зван тоже назвал меня Томасом, мне показалось, что он взрослый.

– Я только что слопал кусок «Наполеона», – сказал я. – У тети Фи.

Он не удивился. Я показал ему мисочку.

– В ней застывшая подливка, – сказал я. – Морозу конца не видно, да? Кстати, что же такое «зимний лед»?

– Это вроде полярного льда. Толщиной сантиметров двадцать. На Южном полюсе есть лед, образовавшийся несколько веков назад.

– А что ты делаешь на улице?

– Иду по ней.

– А куда ты идешь?

– Не куда, а откуда.

На длинной и холодной Ван Ваустрат я увидел голую шею Пита Звана и воротничок его белоснежной рубашки; воротничок выглядел потертым, там и сям малюсенькие дырочки, но все же Пит Зван, несомненно, был мальчиком из хорошей семьи. Я знал от Олли Вилдемана, что Пит Зван живет в богатом доме на Ветерингсханс. Мне очень хотелось бы побывать в таком доме. Но мы с одноклассниками редко ходили друг к другу в гости – точнее сказать, никогда.

– Мой папа пишет книгу, – сказал я.

– Да, – ответил Пит Зван, – я знаю, что он пишет книги.

– Откуда ты знаешь? Ведь они нигде не продаются, его книги, – это толстые тетради у нас дома.

– Слухом земля полнится.

– Ты тоже хочешь писать книги? – спросил я.

– Пока не знаю. Может быть.

– Почему ты пока не знаешь?

– Чтобы написать книгу, надо много всего повидать и пережить, – сказал он.

– А что надо повидать и пережить?

– Много всего, Томас.

– Терпеть не могу воскресенье, по воскресеньям становишься таким заторможенным…

– По-твоему, я заторможенный?

– Нет. А я?

Он взглянул мне в глаза. Он никогда не улыбался.

– Ладно, пока!

– До свиданья, Томас. Смотри не урони миску.

Я подбросил миску и ловко ее поймал. Он наконец-то засмеялся – тихо-тихо, едва слышно.

Я пошел дальше, он пошел дальше. Я пошел домой, он – в сторону Амстердам-Зёйд. Я обернулся и посмотрел ему вслед. Пит Зван шел по улице такой одинокий. Он тоже обернулся и увидел, что я иду по улице такой одинокий.

Злосчастные собачки

Воскресный вечер. Печка как раз прогорела, когда к нам наверх с веселым шумом пришли Рейнир Ворланд и Адриан Мостерд. Они случайно встретились в сумерках на Лейденской площади. Я люблю, когда они приходят, потому что папа от них веселеет.

– В кармане ни цента, – сказал Ворланд. – Я и говорю Аду: у меня дома молоко скисло и хлеб заплесневел, пойдем-ка к Йоханнесу, пусть он накормит нас обедом!

– Глубокоуважаемые господа, – сказал папа, – печка прогорела, уголь закончился, а в буфете мышь повесилась.

Старый добрый Мостерд с гордостью показал папе какой-то грязный пакетик.

Ворланд прошелся по комнате, папа ударил его по руке при попытке раскрыть толстую тетрадь на столе. Ворланд – художник. Его картины никто не покупает. «Мое время еще не настало», – говорит он.

Папа освободил пепельницу, пересыпав из нее окурки в другую, еще не совсем полную.

Ворланд сел рядом с холодной печкой, протянул к ней руки и от блаженства закрыл глаза. Казалось, он наслаждается теплом.

Я заметил, что на ногах у него сандалии, и спросил:

– А у тебя не замерзают пальцы на ногах?

– Если это произойдет, – сказал он, не открывая глаз, – я их отрублю и заспиртую.

Я покатился со смеху.

Мостерд показал папе пару копченых селедок. Они лежали на прожиренной газете. Папа осмотрел их с недоверием. Мостерд понюхал и сказал:

– Все в порядке, я купил их три дня назад у разносчика, они свежи, как девичьи щечки.

– Смотрите, – показал я пальцем на Ворланда, – смотрите, он думает, что печка греет, вот чудак.

– Горящая печка – друг любого человека, – сказал Ворланд, – а ваша холодная печка – это же яркая личность, вот это меня и согревает!

Мостерд все еще не отдышался после подъема по лестнице.

– С вашего позволения, господа, я не буду снимать пальто, – сказал он. – Я должен защищать свое старое тело от мороза и влажности. Расскажите мне о скорби, и страдании, и горе, это меня утешит.

Я обожаю Мостерда. Он не говорит, а поет. Артист на заслуженном отдыхе. Так говорит папа. Я не знаю, что значит «на заслуженном отдыхе». Но я знаю, что Мостерд совершенно ничего не может запомнить и носит по две пары носков, одну поверх другой, у него длинные седые волосы до плеч и большие, как блюдца, уши. А когда у него на лице горестное выражение, мне становится безумно смешно.

За столом папа поделил селедку на всех поровну. Ворланд снял сандалии и носки, а потом подстриг нашими огромными ножницами ногти на ногах. Мне совсем не было противно смотреть, потому что ноги у него чистые. Каждый состриженный ноготь он какое-то время держал между большим и указательным пальцем над пустой угольницей и только потом бросал в нее.

– А почему ты не выкидываешь ногти сразу? – спросил я.

– Мне тяжело расставаться с частицами моего «я», – сказал он.

– Как у тебя дела в школе, малыш? – спросил Мостерд.

– Решаю задачи, – сказал я, – а потом еще задачи. Занудство.

– Ты прав, – сказал Мостерд, – от арифметики нормальному человеку мало проку, считать люди учатся на практике, но этой практики лучше избегать. А про Вондела[2 - Йост ван ден Вондел (1587–1679) – классик нидерландской литературы.] вам учитель рассказывает?

– Кто такой Вондел? – спросил я.

– Твой вопрос ранит меня в самое сердце. Йост ван ден Вондел три века назад сочинял стихи и торговал чулками в лавке на Вармусстрат; мечты его были величественны, а язык – грандиозен. Я ошибаюсь, или ты правда подрос на несколько сантиметров?

– Не знаю, – сказал я.

Мостерд сочувственно покачал головой. И произнес торжественно:

– Родитель не жалея сил

Растит детей своих.

От малышей не счесть хлопот

И горя – от больших.

– Чего-чего? – спросил я.

– Это Вондел, малыш. У меня нет детей. Жизнь избавила меня от многих страданий.

– По тебе этого не скажешь, – съязвил Ворланд.

Мостерд подмигнул мне.

– Этот субъект – мерзавец, – сказал он. – Но картины он пишет прекрасные.

Оттого что в комнате было много народу, я согрелся. Папа, Ворланд и Мостерд не смолкали ни на миг. Что они делали – ссорились или веселились?

Ворланд умеет ругаться еще крепче, чем папа, я иногда краснею от стыда.

Мостерд говорил очень громко и брызгал слюной, как верблюд. Папа держался за живот от смеха. Может быть, они забыли, что я тут же, в комнате?

Я подошел к Ворланду и попросил:

– Можно я затянусь твоей сигаретой? Ну пожалуйста, всего один разок.

Ворланд дал мне свою зажженную сигарету, я вдохнул дым, втягивая щеки, и засмотрелся на огонек. Сигарета на глазах уменьшалась в размере. Здорово! Я засмеялся и закашлялся. Мостерд постучал меня своей гигантской лапищей по спине. И тут же папа подавился куском селедки. Ему нельзя есть рыбу, он вечно давится. Наконец-то они обратили на меня внимание! Я ловко вскочил на сундук с нафталином и старой одеждой, развел руки в стороны и сказал:

– Я самый способный в классе. Я читаю лучше всех.

Их это совершенно не волновало.

Значит, надо сделать что-нибудь другое. Рассказать про собачку – да-да, про собачку. Когда я рассказал эту историю тете Фи, она долго шмыгала носом, хотя вовсе не была простужена.

– Однажды я увидел на льду собачку, – закричал я. – Она так замерзла, что даже перестала дрожать. Она только смотрела – вот так вот – большими влажными глазами, вот посмотрите!

Указательными пальцами я сдвинул кожу под глазами вниз.

Невероятно – они все замолчали. И смотрели на меня с таким выражением, будто говорили: «Не переборщи, мы и так уже вот-вот зальемся слезами». Но самое интересное было впереди – об этом они еще не знали.

Я продолжал рассказывать:

– Я хотел взять эту собачку на руки, бедняжечку, но оказалось, что задница у нее вмерзла в лед. В зимний лед. Который иногда достигает толщины в двадцать сантиметров. Почти как полярный лед, может лежать вечно, а в один прекрасный день растаять. – Я с пылом мотал головой.

Они явно не ожидали услышать от меня таких научных сведений о льде (почерпнутых от Пита Звана).

– Люди с баржи дали мне миску с теплой водой и тряпку. Миска была с трещинкой и текла.

Тот, кто помнит подробности насчет мисочки, не врет.

Я посмотрел на слушателей. Они сидели словно воды в рот набрав. Я был горд как никогда.

– А потом я растопил лед под собачкой, – рассказывал я со слезами в голосе. – Песик стал меня лизать, облизал все лицо, его язык чуть не примерз к моему носу, – это была совсем паршивая беспородная собачонка, но паршивые беспородные собачонки тоже хотят жить.

Я смолк и скрестил руки на груди в ожидании аплодисментов.

– И всё? – спросил папа.

– Всё, – ответил я.

Ворланд сказал:

– А потом Фикки рассказал тебе, где он живет, и ты вернул его счастливому хозяину.

Я ничего не ответил.

– Ах, малыш, – сказал Мостерд своим гулким, как из колодца, голосом, – в правде нет никакой радости, в этом ты прав. Ты поэт, но для высокого полета у тебя еще слабоваты крылышки.

Папа усмехнулся.

– Всё это – чистая правда, – воскликнул я и поднял два пальца, – клянусь!

Они молча смотрели на меня. С ними шутки плохи, с этими друзьями. Я спрыгнул с сундука, забрался за кресло и уткнулся головой в колени. Я вам покажу, думал я, старые хрычи, крылышки, говорите, слабоваты, – идите вы в болото, чтоб вам пусто было, черт бы вас побрал, никогда ни за что я вам ничего больше не расскажу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/peter-van-gestel/zima-kogda-ya-vyros-2/) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

Батавы – германское племя, жившее некогда на территории нынешней Голландии.

2

Йост ван ден Вондел (1587–1679) – классик нидерландской литературы.

Купить: https://tellnovel.com/ru/peter-gestel/zima-kogda-ya-vyros-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить